

РАЗВОД С ДРАКОНОМ

и тридцать головок сыра

Алёна Мельникова

Алена Мельникова

**Развод с драконом и
тридцать головок сыра**

«Автор»

2026

Мельникова А.

Развод с драконом и тридцать головок сыра / А. Мельникова — «Автор», 2026

В день годовщины муж сообщил, что у него другая семья, и отвёл мне северное поместье моего приданого: подпиши отказ от земель — или оставайся в развалинах с его осиротевшими племянниками. Только Элиса Варрен в ту ночь выпила флакон капель. А проснулась в её теле я: сорок пять лет, директор интерната, человек, который всю жизнь чинил крыши и считал крупу на шестьдесят ртов. Дом течёт, управляющий ворует, денег нет. В сыроварне стоят два медных котла, а по закладной к осени надо отдать сто пятьдесят золотых — в тот самый день, на который муж назначил трибунал. Я не подпишу. Детей не отдам. Сыр сварю. А сосед за ручьём, опальный генерал-дракон с выгоревшим пламенем, пусть и дальше смотрит волком и присылает тёс, не спрашивая. Пирогов ему не достанется. Наверное. Книга первая. Цикл из трёх книг, каждая с законченной историей.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	16
Глава 4	21
Глава 5	25
Глава 6	30
Глава 7	35
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Алена Мельникова

Развод с драконом и тридцать головок сыра

Глава 1

Потолок был чужой.

Лепнина, серая, в трещинах, и жёлтый потёк от угла к середине: крыша течёт не первый год, и никто не чинит. У меня над кроватью в Боровом потолок был побелён в августе, я сама белила.

За стеной плакал ребёнок. Тонко, на одной ноте, долго. Кто-то его уговаривал шёпотом, и голос у этого кого-то был тоже детский.

Я хотела сказать «иду» и сказала. Голос вышел не мой. Выше, мягче, чужой, и от этого голоса я села так резко, что комната качнулась. Рука сама пошла к горлу, к жилке под челюстью, как учили на курсах первой помощи. Жилка билась. Быстро, молодо. Под пальцами была гладкая кожа, которой я не знала.

Последнее, что я помнила, было жёлтое. Папка с тесёмками, акт, слово «реорганизация», место для подписи. Я расписалась. Клавдия Семёновна принесла валидол, сказала, что чай стынет. Потом стало тесно в груди, и потолок в учительской поехал вбок.

Тот потолок был другой. Плитка.

Во рту горчило, знакомо: так горчат капли от бессонницы. На тумбочке стоял флакон синего стекла, пустой, пробка рядом. Меня повело, и я успела нагнуться над тазом, который кто-то предусмотрительно поставил у кровати. Потом долго сидела, упёршись лбом в холодную спинку.

Значит, так. Либо я умерла в учительской, не допив чай, и проснулась в теле, которое вчера выпило флакон. Либо я сошла с ума там же, в учительской, и это всё валидол. Я бы предпочла валидол. Но таз был настоящий, и дети за стеной были настоящие, и плакали они не первый час.

С последним хотя бы понятно, что делать.

Дверь открылась без стука. Женщина лет пятидесяти, в платке, в сером платье с подоткнутым подолом, руки красные от холодной воды. Увидела меня над тазом, увидела флакон.

— Матьер Небесная.

— Не надо. Воды дай.

Она дала. Кружка была оловянная, вода ломила зубы. Женщина стояла надо мной и смотрела без жалости, с интересом, как у нас в селе смотрели на городских.

— Я уж думала, вы как матушка ваша. — Она забрала флакон, понюхала и сунула в карман передника. — Всю ночь дверь дёргала. Заперлись.

— Больше не запрусь.

Она хотела что-то сказать на это и не сказала. Поджала губы.

— Дети со вчерашнего полудня не ели. Горан с вечера пьян, в сених лежит. Дров у печки на три дня. Это чтоб вы знали.

— А в поленнице?

— Поленница господская. Горан ключи при себе держит, от дровяника и от кладовой. Говорит, лорд велел: припас для хозяйства, а не для баловства.

Я повторила про себя: лорд велел. Горан. Ключи. Три дня.

— Как тебя зовут?

Она моргнула.

— Берта. Леди Элиса, вы что...

— Капли. Голова как чугун. Берта. Хорошо. Дети где?

— В детской, там хоть печка. — Она помолчала. — Теодору десять. Миле семь. Это если вы и их забыли.

— Не забыла, — сказала я. И это была первая ложь в этом теле.

Пока я вставала, она отдирала от окна примёрзшую штору, и под шторой, на стене, оказался камень. Круглый, с ладонь, вмазанный в штукатурку, серый и мёртвый. Берта провела по нему пальцем, как проводят по лбу больного.

— Погас ещё по осени. Рунщика из Горнца звать — десять серебряных, где их взять.

Камень. Потёк. Флакон в кармане передника. Рунщик. Хорошо. Значит, не Тверская область. Паниковать было некогда, а откладывать я умела: двадцать пять лет откладывала. Работало другое, старое: когда непонятно, считай, что есть.

Есть дети. Есть печка в детской. Есть поленица, которую не велено трогать. Есть пьяный Горан с ключами.

По порядку.

В зеркале у двери стояла молодая женщина, светловолосая, круглолицая, с тёмными кругами под серыми глазами. Крупная. Мягкая. У нас про таких говорили «справная».

— Хотя не худая, — сказала я ей. — Худую бы тут ветром сдуло.

Берта за спиной уронила штору.

Платье было серое, шерстяное, с крючками на спине, и крючки застегнула Берта, молча, раньше, чем я сообразила попросить. Башмаки на меху. Шаль. На столе у окна лежало письмо, придавленное подсвечником, развёрнутое: его читали много раз.

Бумага плотная. Герб: крыло, не птичье, перепончатое. Почерк ровный, без нажима.

«Элиса.

Полагаю, ты уже устроилась. Выселки — твоё приданое, и справедливо, если ты проведёшь там время, необходимое для принятия решения. Я не хочу тебе зла. Мы оба понимаем, что брак, в котором за пять лет не появилось наследника, не состоялся. Отказ от земель и от уз прилагаю. Подпиши его до Дня Урожая, и я позабочусь о достойном содержании для тебя в любом месте по твоему выбору, кроме столицы. Если не подпишешь, по закону о драконьем роде через год раздельной жизни я вправе обратиться в трибунал. Тебе это не нужно.

Теодор и Мила остаются с тобой. Лавиния полагает, что детям моей сестры будет спокойнее вдали от перемен в доме. Опека короны извещена. Средства на их содержание будут направляться через управляющего.

Будь разумна.

Р. В.»

Я прочла дважды. Второй раз одну строчку: «Лавиния полагает».

Отказ лежал тут же. Два листа мелким почерком и пустое место внизу. Я его не тронула.

— Берта. День Урожая когда?

— По осени. Как ярмарка в Горнце отойдёт.

Полгода. Муж. Другая женщина, которая «полагает». Двое чужих детей, сосланных к жене, которую тоже сослали. Деньги через Горана. И флакон.

Я не знала эту Элису. Не мне было её судить. Но детям за стеной сейчас было всё равно, кто из нас двоих прав.

— Идём к детям.

Коридор был длинный, с окнами, забитыми через одно, под ногами хрустела штукатурка. Детская в конце: круглая железная печка, одеяло на полу, на одеяле двое.

Девочка вскочила первой. Светлая, кудрявая, нос в саже, в руке тряпичный заяц с одним ухом.

— Тётя Элиса! Вы больше не будете плакать?

Мальчик поймал её за подол и усадил. Тёмный, худой, куртка коротка в рукавах на две ладони. Вставать не стал.

— Не буду, — сказала я девочке. — Кто что ел?

— Вы вчера сказали, что мы вам не нужны, — сказал мальчик. Ровно, не глядя. — И чтобы мы не лезли.

Девочка дёрнула его за рукав. Он не обернулся.

Вот оно. Я присела, чтобы быть с ним на одной высоте. Колени этого тела хрустнули.

— Вчера я была не в себе. Больше такого не будет.

— Вы и раньше так говорили.

— Раньше говорила не я.

Он поднял глаза. Я выдержала. Девочка в это время тихо, думая, что я не вижу, засунула в зайца, в дырку от уха, корку хлеба. Я не стала смотреть туда.

— Так. Сейчас мы с Бертой идём за дровами. Потом варим кашу. Тео, ты идёшь со мной. Мила, ты остаёшься у печки с зайцем. Вопросы?

Мила подняла руку.

— А заяц тоже будет кашу?

— Заяц будет смотреть.

Тео не двинулся.

— Я её одну не оставлю.

Он не торговался, он просто сообщал. Я это уважала.

— Тогда идём все. Мила, зайца держи крепче.

Он встал, одёрнул куртку, взял сестру за руку и пошёл к двери первым.

Горан лежал в сених на тулупе, лицом к стене. Большой, рыхлый, в овчинной безрукавке, и пахло от него погребом, где с осени забыли брагу. На поясе, на ремешке, висела связка ключей. Четыре штуки.

Я его потрясла за плечо. Потом ещё раз, сильнее.

— Горан.

Он повернулся, посмотрел мутно, узнал.

— Леди не извольте... — Сел, икнул. — Беспокоиться. Всё под присмотром.

— Ключи от дровяника.

— Не положено. — Он сказал это почти ласково. — Лорд Варрен велели: припас на зиму для хозяйства. А вы, леди, до подписи тут, можно сказать, гостя. Подпишете — и с лёгкой душой. А дрова казённые.

За моей спиной в дверях стояли Берта и Тео. Тео держал Милу за плечо, Мила держала зайца. Я это видела краем глаза и видела, что Горан тоже это видит. Он усмехнулся.

— Лорд Варрен дракон, леди. А вы кто?

Я не стала отвечать на этот вопрос. В основном потому, что сама пока не знала.

Здесьних законов я не знала тоже. Зато я знала, как устроены проверки. Они везде устроены одинаково.

— Горан, слушайте внимательно, я скажу один раз. — Голос я не повышала. Голос в таких случаях надо, наоборот, опускать. — В письме лорда написано: опека короны извещена. Это значит, что приедет проверка. Проверка составит акт. В акте будет написано, что дети лорда Варрена голодали при полной поленице, а управляющий, через которого идут средства на их содержание, лежал пьяный в сених. Фамилия управляющего в акте будет ваша. Лорду скандал не нужен. Как вы думаете, кого он сдаст первым: себя или вас?

Горан молчал. Что-то за мутью в его глазах зашевелилось.

— У вас два выхода, — сказала я. — Ключи сейчас. Или я сажусь и пишу лорду сегодня же. Считаю до трёх. Я всегда считаю до трёх, спросите любого пятиклассника. Раз.

— Леди...

— Два.

Он сорвал связку с пояса и швырнул на пол. Ключи звякнули о доски и подъехали мне под ноги.

— Берите. — Он уже не улыбался. — Только вы учтите, леди. Деньги на детей лорд шлёт мне. На моё имя, через почтовую станцию в Горнце. Не вам. Ключи ваши, а серебро моё. Вот и посмотрим, кто тут до осени хозяйка.

Я подняла ключи не торопясь. Это была правда, и крыть её мне было нечем, и он это знал.

— Проспитесь в конюшне. Здесь дети ходят.

Он не пошёл в конюшню. Отвернулся к стене и лёг. Я не стала настаивать. Ключи были у меня. Деньги — нет. По порядку.

Когда я обернулась, Берта смотрела на ключи у меня в руке. Тео смотрел на меня.

За дверью с клеймом в виде крыла, выжженным на косяке, лежало то, что Горан называл припасом для хозяйства. Мешок муки, непчатый. Мешок гречки. Лук в связках. Шмат сала, завернутый в холстину, с мою руку. Горшок мёда. Сушёные яблоки на нитках. Два кувшина масла. И в углу, за мешками, оплетённая бутылка, в которой было уже меньше половины.

Бутылку я хотела вылить. Берта поймала меня за рукав.

— Не надо. Он за неё дом спалит. Пусть лучше пьёт, чем думает.

Я не вылила. Записала себе: бутылка, одна штука, вопрос открыт.

Я считала вслух, Берта считала за мной губами. Тео стоял в дверях и считал молча, я видела по глазам.

— Это на сколько? — спросил он.

— На месяц с лишним, если без Горана. Если с Гораном, то до его следующей жажды.

Дрова носил Янек, конюх, шестнадцать лет, тощий, заикающийся, с лошадиным запахом. Я ему сказала «молодец», и он уронил полено.

Печь на кухне была во всю стену и дымила. Не как у плохих хозяек, лениво и в потолок. В лицо. Назло.

— Ясно, — сказала я ей. — Клавдия. Будешь Клавдия.

Клавдия Семёновна у нас заведовала столовой девятнадцать лет и тоже всегда была против.

— Леди с печкой разговаривает, — сообщила Берта. Не мне. Янеку.

— Леди разговаривает со всеми, кто плохо работает. Янек, в трубе что?

— К-кирпич. Я выюшку подпирал, когда т-треснула.

— Вынимай.

Он вынул. Клавдия втянула воздух, загудела и задымила меньше. Не перестала. Меньше. Трубу надо было чистить, и не кирпичом, а трубочистом, и трубочист стоил денег, которых у меня не было. Я открыла форточку и записала трубу в тот же список, что и бутылка.

Кашу я варила гречневую, на воде, с луком, который Берта жарила на сале, и запах по кухне пошёл такой, что Мила бросила зайца у печки и подошла к столу, не дожидаясь, пока позовут. Я умела это с первого своего года в интернате, когда никаким директором ещё не была, а была двадцатилетней воспитательницей, и повариха запила на три недели, и я варила на шестьдесят ртов. После шестидесяти гречка на пятерых — это отдых.

Ели на кухне. Пять мисок. Четвёртую я поставила перед Бертой, пятую перед Янеком, и оба посмотрели на миски так, будто их поставили не туда.

— Садитесь. Кто носил дрова и кто готовил, едят первыми. Остальные — с ними.

— Леди так не делают.

— Эта делает. Садитесь.

Янек сел на самый край лавки, будто готовый в любую секунду встать. Берта села.

Мила ела быстро, обжигаясь, зажмурившись. Тео ждал. Держал ложку и не ел, пока сестра не доела половину. Потом начал, медленно, маленькими порциями, растягивая.

— Тётя Элиса никогда не заходила на кухню, — сказал он в миску. — Даже дома.

— Теперь заходит.

Он поднял глаза и больше ничего не сказал. Но смотреть не перестал.

Мила доела, отставила миску, вытерла рот рукавом и только тогда спросила:

— А вы завтра тоже будете?

— Что буду?

— Тут.

— Буду.

Она кивнула, сползла с лавки к тёплому боку Клавдии и через пять минут спала. Заяц лежал рядом, ухом в золу.

Берта мыла миски и говорила в воду, не оборачиваясь, как будто сама с собой:

— За ручей не ходите. Там Крейгова земля. Генерал опальный, дракон. Выгоревший. Его сюда корона сослала, в Крейгхолл, и люди его по лесу ходят. Лорд ваш с ним в столице что-то не поделил. — Она помолчала. — Деревенские его боятся. Говорят, он...

— Что говорят?

— Разное. — Она вытерла руки о передник. — Я к тому, что за ручей не ходите.

Я не собиралась за ручей. У меня за ручьём не было никаких дел.

К вечеру ветер переменился, потянуло с юга, и с крыши закапало. Берта сказала: оттепель, рано в этом году. В детской было тепло, по-настоящему, так, что Мила раскрылась во сне.

Спать я легла там же, в детской, на тулупе у печки. Горан был в доме, ключи были у меня, а дети были в детской, и складывать это в одну комнату с собой мне было спокойнее. Берте я велела запереть кладовую и дровяник и дверь на кухню подпереть лавкой. Она оглядела тулуп, спящих детей, меня и ничего не спросила. Только принесла вторую подушку.

Я лежала, слушая дом. Дом скрипел, с крыши капало, где-то хлопала ставня. Тео не спал. Я слышала по дыханию. Он тоже слушал, но не дом.

Муж. Дракон. Надо будет посмотреть, какой он. Чем-то он ей очень не нравился, этой Элисе. Или нравился. Это хуже.

Ключи я положила под подушку. Это было глупо, и я это знала, и всё равно положила.

Разбудил меня не плач. Лошади. Несколько, по подтаявшей дороге, и голоса, и свет, который мазнул по потолку оранжевым и ушёл. Я села. Под окном, за оградой, горели факелы. Тео сидел на своём одеяле уже одетый.

— Лежи, — сказала я ему. — С сестрой.

Дверь открылась, и в ней стояла Берта в накинута тулупе, с лицом белым, как её передник.

— Крейговы. Пятеро. Чего им ночью...

Я уже одевалась. Крючки Берта застегнула на ходу, трясущимися руками, и попала не в те петли, и мы обе махнули рукой. Шаль. Ключи из-под подушки в карман, потому что рука сама потянулась. Фонарь Берта сунула мне в дверях.

На крыльце было черно и сыро, с крыши капало за ворот. У ворот, снаружи, пятеро верховых с факелами, и один из них спешил и стоял у самой решётки, держа повод. Высокий. Без шапки. Свет факела ложился на половину лица и на шею, где от воротника вверх шёл шрам, широкий, как от ожога.

Он смотрел на меня. Потом мимо меня, на окно детской, где горел ночник.

— Леди Варрен. — Голос низкий, ровный, без приветствия. — Мы возвращались с рубежа, я не стал ждать утра. Ваш муж известил меня письмом, что вы подпишете бумаги и покинете Выселки до оттепели, а детей передадите под надзор ближайшего владельца земель. Ближайший — я. С крыш капает. Я приехал проверить, почему вы ещё здесь.

Письмо, которое лежало у меня на столе под подсвечником, говорило другое. До Дня Урожая. Дети остаются с тобой. Одно из двух писем врало, и я бы поставила на то, что написано красивым почерком без нажима. Только не знала пока, кому из нас двоих оно врало.

Я стояла с фонарём и молчала ровно столько, чтобы он понял: я слышала.

— Соберите детей, — сказал он. — Утром я заберу их в Крейгхолл.

Глава 2

Ворота я не открыла.

Это было первое, что я решила, и решила раньше, чем додумала остальное: ночью, пятерым верховым с факелами, ворота не открывают. Какие бы бумаги у них ни были. У нас в интернате это называлось «пропускной режим», и за восемнадцать лет директорства я ни разу о нём не пожалела.

— Как вас зовут? — спросила я.

Он помолчал. Не потому, что не расслышал.

— Крейг.

— Генерал Крейг. — Берта говорила «генерал», и я решила не экономить. — Лорд Варрен написал мне другое. Его письмо лежит у меня на столе. Там сказано: до Дня Урожая. И дети остаются со мной. Хотите, прочтёте утром, при свете. С крыльца я вам его бросать не буду.

— Мне достаточно своего.

— А мне своего.

За его спиной кто-то из верховых коротко хохотнул и тут же замолчал. Генерал не обернулся.

— Леди Варрен. Закон Севера: если опекун покидает подопечных, надзор принимает ближайший владетель. Я не спрашиваю вашего согласия. Я ставлю вас в известность.

— Я их не покинула. — Я подняла фонарь повыше, чтобы он видел моё лицо, а я его.

— Они в доме. Накормлены. Спят в тепле. Если вам надо это проверить, проверяйте. Утром. Через ворота. С одним человеком, не с пятью.

Он смотрел на меня. Факел ближнего всадника потрескивал, оплывая, и свет ходил по шраму на шее вверх-вниз. Лицо у него было такое, по которому ничего не прочтёшь.

— Варрен писал, что вы нездоровы, — сказал он.

Вот оно. Теперь было понятно, с чем он приехал. Не за детьми. За сумасшедшей, которая запирается с флаконом, пока дети в соседней комнате плачут. Если бы мне написали такое про соседку, я бы тоже поехала ночью.

— Лорд Варрен писал много чего. Я была нездорова. Вчера. Сегодня я вынимала кирпич из трубы и отбирала ключи у пьяного управляющего. Можете спросить у него, он в сенях, если проснётся.

Пауза. Длинная. Я уже знала, что он так делает: молчит, пока собеседник не заговорит снова, сам. Я не заговорила. У меня тоже было восемнадцать лет практики.

— Маркус. Двое остаются до утра. Внутри ограды.

— Внутрь я не открывала.

— Через калитку, леди. Она у вас за амбаром и не заперта. Проверьте засовы, прежде чем говорить о пропускном режиме.

Я этого не знала. Я и про калитку не знала. Он увидел по моему лицу, что не знала, и ничего не добавил. Мог бы.

— Утром, — сказал он и вскочил в седло.

Они уехали. Двое остались, спешились и, ведя лошадей в поводу, обошли ограду за амбар. Через минуту они стояли уже внутри, под навесом у ворот, не глядя на дом, и факелы их торчали в снегу по обе стороны калитки, которую я не заперла.

Я стояла на крыльце, пока не перестала слышать копыта. Потом поняла, что держу фонарь обеими руками. Поставила его на перила. Руки тряслись. Пусть.

В доме было темно и тихо. Берта, не спрашивая, забрала фонарь и ушла на кухню. Я пошла в детскую и в коридоре наткнулась на Тео.

Он стоял у стены в темноте, босой, в куртке, и я чуть не прошла мимо.

— Я сказала лежать.

— Я лежал. Потом встал.

Логика была безупречная. Я не стала спорить.

— Он сказал, что заберёт нас.

— Сказал. А я сказала, что нет. Утром посмотрим, кто из нас прав.

— Вы не открыли.

— Нет.

Он молчал. В темноте было слышно, как он дышит, носом, часто. Я ждала. Я догадывалась, о чём он спросит. Такие дети всё замечают и долго молчат, а потом говорят всё сразу.

— Тётя Элиса боялась дядю Рея. И лорда Крейга боялась, когда про него рассказывали. И Горана. Она всех боялась. Она не ходила на кухню, и не отбирала ключи, и не говорила «считаю до трёх». И не стала бы спать на полу. — Он набрал воздуха. — Вы не тётя Элиса. Кто вы?

Я могла соврать. Про капли, про болезнь, про то, что люди меняются. Он бы сделал вид, что поверил, и перестал бы мне верить совсем, и правильно бы сделал. С детьми это так: один раз соврёшь в главном, и дальше можешь говорить что угодно.

Но и вываливать на десятилетнего ребёнка ночью всё, что я знала сама, было нельзя. Я и сама-то это пока не вываливала на себя.

— Присядь, — сказала я. — Коленки у меня хрустят, а разговор не на минуту.

Мы сели на пол, спиной к стене, под забитым окном, из щели тянуло сыростью и талым снегом.

— Я скажу тебе то, что знаю точно, — сказала я. — А чего не знаю, того говорить не буду. Договорились?

Он кивнул в темноте. Я скорее почувствовала, чем увидела.

— Вчера тётя Элиса выпила капли. Сегодня утром я проснулась в её кровати, и той Элисы, которая всего боялась, больше нет. Что осталось и откуда взялось, я сама не до конца понимаю. Но я помню другую жизнь. Длинную. В ней я много лет работала с детьми, у которых не было своих взрослых. И я не боюсь ни Горана, ни твоего дядю. Это всё.

Он долго молчал.

— Она умерла?

— Не знаю. Думаю, той, которая боялась, больше нет. А больше я тебе врать не хочу, поэтому не знаю.

— Она нас не любила, — сказал Тео. Без обиды, как факт. — Но она плакала, когда дядя Рей сказал, что мы поедем с ней. Не из-за нас. Из-за себя. Но плакала.

— Да.

— А вы не плачете.

— Плачу. Просто не при людях.

Он подумал над этим.

— Я не скажу Миле.

— Не надо. Ей семь. Ей нужна тётя, а не история про капли.

— А Берте?

— Берта взрослая. Спросит — отвечу.

Он кивнул. Потом спросил то, ради чего, видимо, встал с одеяла:

— Вы нас не отдадите?

Я могла пообещать. Это было бы легко, и он бы, может быть, даже уснул. Но я слишком долго работала с детьми, которым обещали.

— Обещать не буду. Обещают, когда уверены, а я не уверена: решать будут не только я и не только он. Я скажу, что знаю. Если вас захотят забрать, я буду стоять в дверях. Выиграю или нет — не знаю. Но в стороне стоять не буду. Это всё, что у меня есть. Устроит?

Он молчал. Потом сказал:

— Ладно. Так честнее.

И встал.

— Я пойду к Миле. Она проснётся и испугается, что меня нет.

Он ушёл. Я посидела ещё, спиной к холодной стене. Потом пошла и заперла калитку за амбаром. Караульные смотрели, как я вожусь с засовом в темноте, и молчали, и я была им за это почти благодарна.

Утром Берта варила кашу, ячку на воде, и я велела наложить две миски с верхом.

— Кому?

— У ворот.

Берта посмотрела на меня, как на человека, который собрался кормить волков.

— Леди. У нас на месяц.

— Знаю. Я считала. Две миски каши — это самая дешёвая репутация, какую я знаю. Дороже будет, если они через неделю расскажут опеке, что хозяйка Выселок держит на своей земле голодных людей.

Берта плюнула и наложила.

Караульные были молодые, оба, с обветренными лицами, и на миски посмотрели как на подвох. Рыжий спросил, с чего это. Я сказала: с того, что вы стоите на моей земле, а на моей земле не стоят голодными. Они переглянулись. Потом рыжий снял рукавицы.

— Хозяйка, — сказал второй с набитым ртом и сам, кажется, удивился слову. — Генерал в девятом часу будет. Он завсегда в девятом.

— Спасибо.

Милу мы одели в лучшее, что нашлось: синее платье и тёплые чулки. Я заплела ей косу, как умела, то есть криво. Она терпела и вертела зайца. Тео оделся сам и вышел в коридор ждать, как в приёмную.

— Отвечать коротко, — сказала я ему. — Правду. Если не знаешь, так и говори. Не придумывай и не защищай меня. Я сама.

— А если он спросит, кто вы?

— Он не спросит. Взрослые этого не спрашивают. Они спрашивают, что мы ели.

Генерал приехал в девятом часу, как было обещано. Один спутник: тот самый Маркус, молодой, светлый, и по лицу его было видно, что ему всё время хочется что-нибудь сказать и что ему не велено. Сам генерал при дневном свете оказался старше, чем показалось ночью: тёмные волосы с проседью на висках, серые глаза, серый плащ без меха. Шрам шёл от воротника по шее и уходил под волосы за ухом. Левая рука в перчатке, правая без.

— Леди Варрен. Письмо.

Не «здравствуйте». Не «покажите». Письмо.

Я принесла. Он прочёл его стоя, в сенях, не снимая плаща, два раза, как я вчера. Сложил и вернул.

— Почерк его.

— А ваше?

— Моё в Крейгхолле. В нём написано то, что я сказал ночью. — Пауза. — Одно из них лжёт, леди. Я пока не знаю, которое.

— Я знаю. Но доказать не могу.

— Тогда мы в равном положении. Показывайте дом.

Я повела их по дому так, как водила комиссии: ничего не прячем, идём от плохого к хорошему, чтобы хорошее запомнилось. Северное крыло: я открыла дверь, оттуда пахло погребом, генерал остановился на пороге, посмотрел на провисший потолок и ничего не сказал. Кладовую он осмотрел молча и спросил только, на сколько.

— На месяц с лишним.

— Варрен шлёт деньги?

— Управляющему. Управляющий шлёт их в бутыль. Бутыль в углу.

Он посмотрел в угол. Потом на Маркуса, и Маркус перестал улыбаться и что-то записал в маленькую книжку, которую достал из рукава.

На кухне Берта с грохотом поставила на стол горшок с утренней кашей и ушла к печи, спиной. Генерал остановился у стола и не сел, и я заметила, что стоит он к печи ближе, чем стоят люди, которым просто тепло, и правую руку, ту, что без перчатки, держит так, чтобы на неё шёл жар.

Детская. Мила при виде генерала спряталась за Тео. Тео не спрятался.

Генерал присел. Тяжело, одним движением, и было видно, что на корточки перед детьми он не садился давно и не собирался начинать.

— Ты ела сегодня?

Мила кивнула из-за брата.

— Что?

— Кашу. С луком. И вчера. А заяц смотрел.

— Руки покажи.

Она протянула руки. Он взял их в свои, обе. Руки у него были большие, в старых рубцах по костяшкам, и Милины ладошки в них пропали целиком. Он держал их на секунду дольше, чем нужно, чтобы проверить.

— Тёплые, — сказала Мила. — А у вас холодные.

Он отпустил и встал.

— Горан где?

— В сенях. Или в конюшне. Или в бутылки.

Горан был в сенях. При виде генерала он поднялся так резво, как не поднимался, по моему, с осени, и заговорил сразу, частью:

— Ваша милость, лорд Варрен велели, а леди не в себе, вы уж сами видите, ключи отобрали, прислугу за стол сажают, с печкой разговаривают, я лорду всё отпишу, а деньги опеки, вы не думайте, у меня в сохранности, лорд мне их шлёт, не ей, и я...

— Сколько, — сказал генерал.

Горан осёкся.

— Чего?

— Сколько денег опеки у тебя в сохранности. Число.

Горан открыл рот и закрыл. Маркус в рукаве шуршал книжкой.

— Надо посмотреть. Записи. Я в голове не держу.

— Посмотри. К вечеру число будет у моего человека у ворот. — Генерал повернулся ко мне. — Леди. На два слова. Во дворе.

Горан проводил нас глазами и сел обратно на тулуп. Я ещё подумала: тихо сел. Слишком тихо для человека, которого только что спросили про число.

Во дворе капало со всех крыш, снег осел и потемнел. Генерал остановился посреди двора, где нас не было слышно ни из дома, ни от ворот, и мне пришлось задрать голову. Во мне, в прежней, было метр семьдесят восемь, и на мужчин я привыкла смотреть вровень. В Элисе было меньше. Это раздражало отдельно, как тесный ботинок. От него пахло дымом, конём и мокрой шерстью плаща, и голос у него, вблизи, был ниже, чем через решётку.

— Дети в порядке, — сказал он. — Дом нет. Крыша, северное крыло, труба. Запасов на месяц. Управляющий ворует. Денег у вас нет, людей нет. Приданое ваше, Варрен тут не соврал, но распоряжаться им до подписи или до трибунала вы можете только с его согласия: не продать, не заложить, не нанять людей за счёт имения. Он прав в одном: к лету вы это не вытянете.

— Это уже моё дело.

— Ваше. — Он помолчал ровно столько, сколько молчал ночью. Я опять не заговорила. — Надзор я не принял. Я обязан известить опеку, что подопечные лорда Варрена находятся

при опекунке в условиях, которые я видел. Опека придет. Неделя, может, десять дней. Решать будет она.

— Понятно.

— Караул остаётся. У ворот.

— Зачем?

Он смотрел мимо меня, на окно детской.

— Горан отпишет Варрену сегодня же. Варрен получит письмо через четыре дня. Что он сделает дальше, я не знаю. Но я знаю его. — Он перевёл взгляд на меня. — Караул не ради вас, леди. Чтобы вы не обольщались.

— Я не обольщаюсь. У меня для этого нет времени.

Он не улыбнулся. Маркус за него — да.

Они уехали. Маркус, садясь в седло, оглянулся на дом, на крышу, на тёмный провал северного крыла, потом на рыжего караульного, который зачем-то вытянулся, и сказал весело, ни к кому не обращаясь:

— Наших накормили, значит. Ну-ну. А медь в сыроварне у вас ещё целая, хозяйка? Или Горан и её в бутылку?

И уехал раньше, чем я успела спросить, какая сыроварня.

Я стояла посреди двора. Неделя. Опека. Крыша, труба, месяц запасов, и ничего из этого я не могу ни продать, ни заложить. И сыроварня, про которую я не знала, как не знала про калитку.

Из конюшни вышел Янек. Он шёл быстро, и лицо у него было такое, что я поняла раньше, чем он открыл рот.

— Х-хозяйка. Горана нет. И С-серого нет. Я думал, он в нужник, он туда через сад ходит, а он... — Янек сглотнул. — Седло взял. И мешок из к-кладовой. Гречку. Пока вы по дому ходили. У него второй к-ключ был. Я не знал, хозяйка, честное слово, не з-знал.

Гречки было на две недели. Теперь на одну. Я посчитала это раньше, чем успела разозлиться, и это, наверное, единственное, чему меня научили двадцать пять лет: сначала считать, потом злиться.

Караульные у ворот смотрели на дорогу. Дорога была пуста.

Через сад. Задами. Мимо калитки, которую я заперла только ночью, и мимо караула, который стоял не ради меня.

Глава 3

Следы вели через сад.

Копыта, глубокие, с проскальзыванием, до пролома в ограде, о котором я тоже не знала. А рядом с копытами, старые, подмёрзшие и снова оттаявшие, шли колеи. Две, широкие. И не одна пара, а много, одна поверх другой, до самого пролома и дальше, на дорогу.

— Телега тут ходила, — сказала я. — Часто.

— Горанова, — сказал Янек за спиной. — Он в Горнец ездил. За припасом.

— С полной ездил или с пустой?

Янек подумал.

— Туда с полной. Оттуда п-пустой. Я думал, так надо.

Ему было шестнадцать, его никто не спрашивал, и он думал, что так надо. Я не стала ему объяснять, как надо. У меня у самой второй день всё было не так, как надо.

— Покажи сыроварню.

Он моргнул, как будто я спросила дорогу к колодцу, и повёл.

Сыроварня стояла за домом, ниже по склону, у ручья: низкое каменное строение с трубой. Дверь разбухла так, что Янек открывал её плечом, потом я, потом мы вместе. Она поддавалась сразу и вся, и я въехала ладонью в косяк, в ржавую скобу. Скоба процарапала ладонь от большого пальца вниз.

Царапина была неглубокая, а крови много: кожа у Элисы была как у младенца. Я замотала руку платком, затянула зубами и решила, что промою дома тёплой водой, а не ручьём, и что сегодня эта рука у меня нерабочая. Это было некстати, и я разозлилась на скобу, на дверь и на себя, потому что в Боровом я бы в такую дверь ногой открыла, а не ладонью.

Внутри пахло мышами, сыростью и чем-то кислым, старым, въевшимся в камень. Свет шёл из двух окошек под потолком, мутных, в паутине. Посреди на кирпичных очагах стояли два медных котла, каждый по пояс, вёдер на шесть, тёмные, в зелёных потёках. По одному шла трещина от края к середине, запаянная когда-то и разошедшаяся снова. Второй был цел. Вдоль стены полки с деревянными формами, круглыми, дырчатыми, стопками. Пресс: рама, винт, камень. Бочонок с проломленным дном. В стене над очагами круглый камень, как в спальне. Мёртвый.

Мила влезла следом, хотя я велела ждать снаружи, и завизжала: из-под пресса выскочила мышь. Тео поймал сестру за капюшон.

— Тут нельзя визжать. Тут мыши.

— Тут потому и мыши, что никто не визжит, — сказала Мила.

Я постучала здоровой рукой по целому котлу. Медь отозвалась чисто, без дребезга. Живой. Второй придётся паять, а паять медь — это к меднику, а медник — это Горнец и деньги. Но один котёл живой.

— Берта.

Берта стояла в дверях и внутрь не шла. Она смотрела на котлы, и лицо у неё было не ворчливое. Другое.

— Чья это сыроварня?

Она долго молчала.

— Матушки вашей. Леди Орсы. — Тихо, в сторону. — Вы же знаете.

— Я много чего не помню после капель. Расскажи так, будто не знаю.

Она оглядела замотанную руку, детей за моей спиной, меня. Потом вошла и села на край пресса, тяжело.

— Леди Орс сыр варила. Сама, руками. Отец ваш запрещал, говорил: не графское дело, срам. А она варила. Молоко с деревни брала, с десяти дворов, расплачивалась сыром же.

Возила в Горнец по осени, и там её сыр три лавки брали и ещё спрашивали. Головки такие, — она показала руками, с каравай, — жёлтые, с корочкой. Твёрдые, год лежали, не портились. По золотому за головку давали. — Берта замолчала. — Потом она померла. Тут. Упала у котла, у этого вот, целого. Сердце. Вам шестнадцать было. Вас к тётке в столицу увезли, а котлы так и стоят. Горан хотел на лом снести, да они в описи имения, за них лорд спросит. Мешок крупы в описи не стоит, а котёл стоит. — Она помолчала. — Я вам про сыроварню не говорила. Думала, вы и слышать не захотите. Вы после матушки сюда ни ногой.

Я села на бочонок с проломленным дном. Дно было проломлено, но края держали.

Я думала не о сыре. Я думала, что Элиса выросла в этом доме, с матерью, которая варила сыр вопреки мужу и упала у котла, и что потом Элису увезли, выдали замуж за красивый почерк и привезли обратно, в тот же дом, с флаконом. И что Берта стояла рядом с одной, а теперь стоит рядом с другой, и ни разу не спросила, кто я. Не знаю, почему.

Я посидела. Берта не торопила.

— Ты помнишь, как она варила?

— Я при ней семь лет стояла. Руки помнят. А головой не скажу: сколько чего, сколько держать. Она всё в тетрадь писала. Тетрадь в кабинете была, в столе. Если Горан на растопку не пустил.

— Тео.

Тео уже бежал.

Кабинет я вчера генералу не показывала: стол, стул, пустые полки и пыль, нечего показывать. Тео принёс оттуда три вещи и выложил на кухонный стол, перед Клавдией, по порядку, как выкладывают улики.

Толстая тетрадь в кожаном переплёте, в пятнах. На первой странице мелко и прямо: «Записи по сыру. Орса Дрейк».

Тонкая серая книжка. Тео держал её двумя пальцами.

— Горанова. Там цифры.

И сложенный вчетверо лист гербовой бумаги, другой, не с крылом, а с печатью в виде весов.

— А это под сукном лежало. В самом низу.

Горанову книжку мы читали втроём. Я вслух, Тео за плечом, Берта напротив. Берта смотрела в книгу внимательно, кивала в нужных местах, и кивала на полсекунды позже, чем надо, и страницу, которую я повернула к ней, взяла немного не так. Я ничего не сказала. Это не спрашивают при детях.

Писал Горан красиво, с завитками. «Получено от лорда Варрена на содержание: двенадцать золотых. Расход: мука, два мешка. Крупа, четыре мешка. Солонина, бочка. Дрова, три сажени». И так каждый месяц, с осени.

— Четыре мешка крупы в месяц. На пятерых. — Я водила пальцем. — Это шестнадцать мешков с осени. Где они?

Молчание.

— Солонина. Три бочки за зиму. Берта, ты солонину видела?

— Раз. Осенью. Горан сказал, протухла, вылил.

— Тео. Сложи расход за четыре месяца.

Тео взял огрызок карандаша и считал на полях, столбиком, аккуратно. Его этому учили, и учили хорошо: цифры стояли ровно, без помарок.

— Сорок один золотой и семь серебряных. А получено сорок восемь.

— А в кладовой на сколько?

— На месяц.

Он ждал. Он уже понял и хотел, чтобы это сказал взрослый.

— Либо покупал меньше, чем писал, либо вывозил то, что купил, — сказала я. — Телегой. Туда с полной, оттуда с пустой. Сколько именно, узнаем, когда узнаем цены в Горнице. Но на месяц в кладовой против сорока восьми золотых в книге — это не ошибка в счёте.

Тео положил карандаш.

— Лорд Крейг просил число.

— Просил. Горана нет. А число есть.

Я развернула третий лист.

Это была копия. Писарским почерком, с печатью-весами внизу и подписью, которую я не разобрала. «Закладная на имение Выселки с землями, строениями и угодьями. Заёмщик: граф Арно Дрейк. Сумма: шестьсот золотых. Срок: четыре года. Взносы: по сто пятьдесят золотых к Дню Урожая ежегодно. При просрочке взноса имение отходит держателю закладной без суда». Ниже другой рукой: «Первый взнос получен». И дата. Прошлой осенью.

Дочитала. Вернулась к одной строчке: без суда.

— Берта. Отец Элисы... мой отец. Он закладывал имение?

— Перед смертью. — Берта смотрела в стол. — Долги у него были. В столице. Говорили, карты. Закладную держал Гольц, ростовщик из Горнца. Осенью Горан возил ему деньги, лорд прислал. Я думала, лорд и дальше будет.

Лорд и дальше будет. Лорд, который прислал мне отказ от земель и дал срок до Дня Урожая. Ровно до того дня, когда надо платить сто пятьдесят золотых, иначе имение уйдёт без суда. Подпишу — он заплатит и получит землю. Не подпишу — не заплатит, и землю получит ростовщик. А я получу двух детей и дорогу.

Красивый почерк. Без нажима. Он всё посчитал.

— Я к козе, — сказала Мила.

Я не сразу поняла, о чём она. Потом поняла, что сижу и смотрю в стол уже долго, и что дети смотрят на меня, а я на них нет.

— Коза, — повторила Мила терпеливо. — Её надо кормить. Берта сказала, можно мне. Пойдёмте, я покажу.

Я пошла.

Коза жила в закутке конюшни, рядом с пустым стойлом Серого, и была белая, бородатая, с жёлтыми глазами, в которых не было ни одной хорошей мысли. Мила сунула ей охапку сена и погладила по лбу. Коза позволила.

— Как её зовут?

— Никак. Берта говорит «зараза».

— Это не имя.

Мила подумала.

— Пуговица. У неё глаза как пуговицы.

Я протянула руку, здоровую, погладить. Пуговица посмотрела на руку, на меня, отступила на шаг и боднула меня в бедро, коротко и точно, как бьют по мячу. Я села в сено.

Мила засмеялась. Потом испугалась, что засмеялась, и зажала рот. Я сидела в сене, в платье, которое уже не было жалко, с замотанной рукой и ушибленным бедром, и смотрела на козу, которая смотрела на меня, и тоже засмеялась. Первый раз за две жизни.

— Она не любит, когда к ней сверху, — сказала Мила серьёзно. — Надо присесть.

— Запомню.

Я присела. Пуговица подумала и дала себя погладить. Шерсть у неё была жёсткая и тёплая.

Кружка через день, сказала Берта. На головку два ведра. На золотой — головка. На взнос — сто пятьдесят головок. Триста вёдер молока.

Я сидела на корточках рядом с козой и смотрела на эту цифру. Триста вёдер. Одна коза. Полгода. Двое детей. Рука под платком дёргала в такт сердцу.

В Боровом, когда интернату не привезли уголь, я продала свою машину. Тут продавать было нечего, а что было, нельзя без согласия человека, который всё посчитал.

— Тётя. Вы плачете?

— Нет. Сено в глаз.

— Вы же сами говорили, что врать нельзя.

— Я говорила, что нельзя врать в главном. Сено — не главное.

Мила кивнула, как будто это многое объясняло, и дала козе ещё сена.

Число для генерала я написала тем же огрызком карандаша на чистом листе из тетради леди Орсы, оторвав его так, чтобы не задеть записи. «Получено с осени: 48 золотых. Расход по книге управляющего: 41 золотой 7 серебряных. Припасов в наличии: на месяц. Разницу спрашивайте у управляющего». И подписала: Э. Варрен. Это была первая бумага, которую я подписала этим именем. Рука дрогнула.

Рыжий караульный взял лист с недоумением.

— Генерал велел число от Горана.

— Горана нет. Есть книга. Передайте.

Он посмотрел на лист, на меня, сложил и убрал за пазуху. Второй караульный за его спиной сказал негромко: «Горан-то вернётся». Я не придавала значения.

Я думала: человек, который украл мешок и лошадь, не возвращается туда, где его ждут с приходно-расходной книгой. Так было бы в Боровом. Здесь было иначе, и мне бы догадаться по тому, как тихо он утром сел на тулуп.

Остаток дня я промывала руку, считала дни до опеки — семь, если генерал не ошибся, — и ходила по дому с листом бумаги, записывая, что надо сделать за эти семь дней, чтобы комиссия увидела дом, а не развалины. Список получился длинный. Сыра в нём не было. Сыр был на осень. До осени надо было ещё дожиться.

В сумерках с дороги слышались копыта.

Один конь. Шёл он неровно, то рысью, то шагом, как идёт лошадь, когда всадник не держит повод. Караульные у ворот зашевелились, но не так, как ночью при генерале. Лениво. Рыжий распахнул створку, и Серый вошёл в ворота сам.

Я вышла на крыльцо. За мной Берта с фонарём.

— Вы его пустили? — спросила я рыжего.

— А чего не пустить? Генерал велел вас не выпускать. Про впускать не было.

Караул не ради меня. Он предупреждал.

Горан сидел на Сером, как на заборе: криво и держась. Мешка не было. Седельная сумка была, и Горан, сползая с седла, упал на колено, поднялся, отряхнул колено и полез в сумку.

— Леди, — сказал он, и голос у него был счастливый. — А я с почтой. Лорд Варрен прислали. С деньгами, как водится. И не только. Ещё с прошлой почтой лежало, запечатанное, велено было вскрыть, ежели вы не в себе и бумаг не подпишете. А вы не подписали. Вот я и вскрыл. — Он качнулся. — А число ваше генеральское... Лорду я отчитываюсь, не генералу. Лорд мне доверил.

Он вытащил лист. Сложенный вчетверо, с крылом.

Я спустилась и взяла. Берта подняла фонарь. Тео был в коридоре. Мила за ним.

«Сим поручаю Горану Вельцу, управляющему имением Выселки, полное управление означенным имением, его землями, строениями, припасами и доходами до моего особого распоряжения. Леди Элисе Варрен надлежит пребывать при детях моей покойной сестры и в дела управления не входить».

Подпись. Та самая, без нажима. И дата. Три недели назад.

Три недели назад Элиса ещё была в столице. Он написал это раньше, чем отправил её сюда. Раньше, чем письмо про «будь разумна». Он знал, что она не подпишет, или не хотел проверять. Он просто положил это в конверт, как кладут запасной ключ.

Печати не было. Только подпись и герб на бумаге. Значит ли это здесь что-нибудь, я не знала. Я вообще мало что здесь знала. Генерал сказал вчера: приданое моё, распоряжаться с его согласия. Выходит, распоряжаться он может и без моего. Через Горана.

Я перечитала. Горан ждал, покачиваясь. Караульные смотрели.

— Ключи, леди, — сказал он и протянул руку. — Полное управление. Читали?

— Читала.

Ключи лежали в кармане. Я сжала их порезанной рукой, и платок под пальцами снова стал мокрым.

Глава 4

— Утром, — сказала я.

Горан моргнул.

— Чего утром?

— Ключи. Бумагу читают трезвыми, а ключи передают при свидетелях и при свете. Утром. Во дворе. При карауле.

— Леди, — сказал он почти ласково и шагнул ко мне.

Между нами как-то сам собой оказался рыжий караульный. Он ничего не делал: стоял, широкий, в тулупе, и смотрел на Горана сверху вниз без выражения.

— Не шуми, дядя. Дети спят.

— Не спят, — сказал Тео из коридора.

— Ну так идите спать, — сказал рыжий, не оборачиваясь.

Горан прикинул что-то, глядя на рыжего снизу вверх.

— Утром так утром. — Он пожал плечами и похлопал себя по карману. — Мне не к спеху. У меня от кладовой свой ключ. С бумагой или без, а завтра она моя.

И пошёл к конюшне, ведя Серого в поводу. Завёл в стойло, не расседлав, лёг на сено рядом с Пуговицей и через минуту захрапел. Пуговица отошла в дальний угол и стояла там, глядя жёлтыми глазами.

Я её понимала.

Рыжий сказал что-то второму караульному, тихо. Тот кивнул, отвязал лошадь и выехал в ворота, в темноту, в сторону ручья. Я спросила куда.

— К генералу. Ваше число. И про бумагу. — Рыжий снова встал к воротам. — Генерал не любит узнавать утром то, что случилось вечером.

Спать я не легла.

Сидела на кухне с фонарём, с бумагой Варрена и с его первым письмом, тем, из-под подсвечника, и перечитывала одну строчку в каждом. В доверенности: «припасами». Он не поленился написать отдельно. В письме: «средства на содержание детей». На содержание детей. Не имения.

У Горана свой ключ. Утром кладовая его, с моими ключами или без: он сам сказал, и сказал правду, впервые за три дня. Всё, что в ней лежит, станет припасами имения под его полным управлением. Я видела, как он управляет припасами. Телегой.

Когда интернат закрывают, первое, что делают разумные люди, — выносят детское. Не мебель, не документы. Одежда, обувь, еду из столовой. Потому что мебель потом опишут, а дети есть хотят сегодня. Я это делала один раз, в две тысячи девятом, когда нас сливали с районной школой, и до сих пор помню, как завхоз нёс через двор мешок с макаронами и плакал.

Я встала и пошла будить Берту.

Берта не спала. Она сидела на своей лежанке за печью одетая, будто ждала.

— Припасы. Все. В детскую. Сейчас. Тихо.

— Это ж...

— Это содержание детей. Из денег опеки. Лорд сам написал. Доверенность на имение, а дети не имение.

— А из детской он почему не заберёт? — спросила Берта. — Ключ у него от кладовой. А от детской двери и ключа нет.

Это был правильный вопрос, и я на него не имела правильного ответа.

— Заберёт, если захочет. Через тебя, через Янека, при карауле, из комнаты, где спят дети лорда, за неделю до комиссии. Пусть попробует. Я не закон делаю, Берта. Я делаю свидетелей. Это всё, что у меня есть.

Берта смотрела на меня долго. Потом встала и затянула платок.

— Янека будить?

— И Тео. Он всё равно не спит.

Тео не спал. Он вышел в коридор одетый раньше, чем я дошла до детской, и ничего не спросил. Мешки носят Янек с Бертой, сказала я, ты носишь то, что поднимешь, я ношу то, что подниму одной рукой, и не спорь. Он не спорил.

Мила проснулась на втором мешке. Села на одеяле, сонная, с зайцем, и смотрела, как мимо неё Янек тащит гречку.

— Мы переезжаем? — спросила она Тео.

— Еда переезжает.

— А куда?

— К тебе.

Она подумала, встала и принесла из кладовой связку лука, волоча её по полу. Потом ещё одну. Потом уснула на мешке с мукой, с луком в обнимку, и Берта накрыла её одеялом, не останавливаясь.

Кладовая была за сенями, детская в конце коридора, и путь лежал через сени, где было темно и где на пороге мы с Бертой оба раза спотыкались об один и тот же выступ. На третий раз в дверях сеней встал рыжий с фонарём и светил нам под ноги.

— Генерал велел не выпускать, — сказал он мне, когда я проходила мимо с кувшином масла. — Про муку не было.

— Спасибо.

— Это не вам. Это чтоб не навернулись, а то потом разбирайся.

Мешки я не носила, я это себе запретила сама. Но дверь кладовой разбухла не хуже сыроварной, и я дёрнула её порезанной рукой, не подумав, и платок промок сразу. Берта увидела, ничего не сказала, только посмотрела так, что я больше к двери не подходила.

К рассвету кладовая стояла пустая. В детской мешки лежали вдоль стены под одеялом, Мила спала на муке, а Тео сидел рядом с огрызком карандаша и переписывал на лист: мука, мешок, один; гречка, мешок, один, начат; лук, связок, шесть...

— Зачем? — спросила я.

— Если спросят, что взяли. Чтобы было написано.

Я села на пол у печки и подумала: если это кража, то я её уже совершила, и опись к ней прилагается. Уснула на час.

Утром Горан вышел из конюшни помятый, серый, и первое, что увидел, была я посреди двора с ключами в руке. Рыжий стоял рядом. Я его не просила. Он просто встал.

— Горан Вельц, — сказала я громко. — По доверенности лорда Варрена передаю вам ключи от кладовой, дровяника, кабинета и конюшни имения Выселки. Свидетель: караул генерала Крейга. Примите.

Он взял связку и взвесил на ладони. Ему не нравилось, как это звучит, но придаться было не к чему: звучало ровно так, как он хотел.

— И на том спасибо, — сказал он и пошёл к кладовой.

Я не пошла за ним. Стояла посреди двора и считала. До трёх не дошла.

— Куда?! — донеслось из сеней.

Он вылетел обратно багровый.

— Где припасы?!

— В детской.

— Какого...

— Содержание детей. — Я показала письмо. — Рука лорда Варрена: «средства на содержание детей будут направляться через управляющего». Направлены. Дети их содержат. Дове-

ренность у вас на имение. Напишите лорду, спросите, что он имел в виду. Он ответит через восемь дней.

— Вы... — Он задохнулся. — Вы знаете, что я с вами...

— Знаю. Напишите. Вы уже писали. — Я кивнула на рыжего. — При свидетеле прошу запомнить: припасы, купленные на средства опеки, находятся при подопечных. Опись есть. По мешкам, Тео считал.

Рыжий кивнул с таким видом, будто запоминать входило в его обязанности.

Горан стоял и дышал. Я видела, как он ищет, за что уцепиться, и не находит, и как от этого ему становится страшно, а от страха — зло. Досмотреть, во что это выльется, я не успела: с дороги послышались два коня, и ни один не был Серым.

Второй караульный вернулся не один. С ним ехал Маркус, в светлом плаще, без факелов и без генерала, и спешил среди двора, оглядев всё разом: меня, Горана, пустую кладовую за открытой дверью. Что-то понял. Улыбнулся.

— Доброго утра, хозяйка. Генерал шлёт ответ на ваше число. — Он достал сложенный лист без герба, с простой восковой печатью. — И велел кое-что передать на словах. Но я подожду, пока прочтёте.

Почерк был крупный, с нажимом, буквы стояли, как колья в частоколе. После Варрена на это было приятно смотреть.

«Леди Варрен. Число получено. Доверенность на управление без печати уездной канцелярии не даёт управляющему права отчуждать имущество имения: продавать, закладывать, дарить. Прочие права даёт. Отчёт о средствах опеки управляющий обязан представить комиссии лично; при неявке отвечает по закону о казённых средствах. Д. К.»

Я прочла.

— А на словах?

Маркус подошёл ближе и сказал негромко, не для Горана:

— «Медь останется». Это всё. Он сказал ровно два слова, я добавил бы, но не велено.

Горан не слышал слов, но видел лист, и видел моё лицо, и видел, как второй караульный, проезжая мимо, сказал ему через плечо: «Писарь Крейгов разъяснил: продавать тебе нельзя, дядя. Пользоваться можно». И понял. При опеке ему стоять с книгой, в которой сорок восемь против сорока одного, и объяснять, где припасы, а припасы будут лежать в детской под одеялом, по описи, купленные, по бумаге самого лорда, на детей. А котлы, единственное, что в этом имении стоило денег, он не продаст.

— Передайте генералу, что я поняла, — сказала я Маркусу.

— Передам. — Он вскочил в седло и уже оттуда, тише, спросил: — А рука что?

— Скоба.

— Промойте как следует. У нас в Крейгхолле лекарь. Это я от себя.

И уехал. У этого Маркуса было слишком много «от себя» для адъютанта, и генерал, наверное, об этом знал.

Горан ушёл в конюшню. Я видела, как он подтягивает Серому подпругу, и решила: едет в Горнец, писать лорду. Пусть едет. Три часа туда, три обратно, значит, сегодня его в доме не будет.

Это была моя ошибка. Вторая за три дня, если считать калитку, и худшая.

Он вывел Серого во двор. Вернулся в конюшню. Вышел снова, и на верёвке за ним шла Пуговица.

Она упиралась. Он дёрнул. Она пошла боком, мотая головой, и верёвка на шее у неё была затянута так, что я видела это с крыльца.

— Куда козу?

Голос у меня не опустился. Он поднялся, и я услышала это со стороны.

— В пользование. — Горан уже сидел в седле и смотрел на меня сверху, довольный, как человек, который наконец нашёл, за что уцепиться. — Продавать мне нельзя, Крейгов писарь разъяснил. А пользоваться можно. Имущество имения, в описи стоит: коза, одна. Управляющему в дорогу. Молоко в пути пить буду.

— Коза даёт молоко детям.

— Кружку через день? Переживут. Вы же их содержите. Из опеки.

Рыжий сделал полшага и остановился.

— Пользоваться имуществом имения управляющему не запрещено, хозяйка. Нам велено вас не выпускать. Не его.

Горан тронул коня. Пуговица пошла за ним на верёвке, спотыкаясь, и у ворот обернулась и посмотрела на дом.

Из дома закричала Мила.

Она выскочила на крыльцо босиком, в рубашке, с зайцем, и закричала так, что у меня заложило ухо, и я поймала её на второй ступеньке и держала, а она билась и кричала «Пуговица!», и Горан не обернулся, а Пуговица обернулась ещё раз.

Ворота остались открытыми. На дороге стоял туман, и в нём было видно, как всадник и коза уходят в сторону деревни.

— Он её в Горнец не повезёт, — сказала Берта у меня за плечом, сквозь крик. — До Выселок доедет, там кабак. Деньги опеки он теперь тронуть боится, после Крейговой бумаги, их комиссии показывать. А пить хочется. Козу в кабаке за выпивку отдаст, через час. Пользование, как же.

Я держала Милу и смотрела на дорогу.

Денег не было. Лошади не было. Коза в описи, управляющий с доверенностью, караул не ради меня. Было полчаса пешком до деревни, в которой я ни разу не была и где меня, по словам Берты, считали полоумной. И лист с печатью, где крупным почерком стояло: продавать нельзя.

— Берта. Детей. — Я передала ей Милу, и Мила вцепилась в неё, продолжая кричать. — Янек, остаёшься, дом на тебе. Тео...

— Я с вами.

— Нет. Ты с сестрой. Это не обсуждается.

— Вы всегда так говорите. «Не обсуждается». — Он сказал это зло, в первый раз зло, и отвернулся. — Тётя Элиса хоть не притворялась, что спрашивает.

Это было справедливо. Ответить было нечего, и некогда. Он постоял спиной. Потом взял Милу у Берты и понёс в дом, и не оглянулся, и я поняла, что он остался не потому, что я сказала.

Я сошла с крыльца. Рыжий шагнул наперерез.

— Хозяйка. Не велено.

— Коза, — сказала я. — Детская. Он её в кабаке пропьёт через час, и по бумаге вашего генерала это продажа, а продавать ему нельзя. Я иду за козой. Хотите, стреляйте.

Он перевёл глаза с листа у меня в руке на дорогу и обратно. Потом сказал второму: «Ворота», — снял с плеча ремень, перехватил его удобнее и пошёл рядом.

— Не велено выпускать без присмотра. Я присмотр.

— Как вас зовут?

— Пауль.

— Вы её вернёте? — спросила Мила из дверей, через плечо брата. Уже не крича. Икая. Я не стала обещать.

— Я иду за ней. Это всё, что я знаю.

И пошла. В туман, по грязи, с Паулем за плечом, который шагал так, будто и это входило в его обязанности.

Глава 5

Дорога до деревни была одна, и вся она была грязь.

Не та весенняя грязь, которая подсыхает к полудню, а северная, глубокая, с водой под льдом и льдом под водой, и башмаки на меху в ней не спасали. Через сто шагов я перестала их жалеть.

Пауль шёл рядом и чуть сзади, как ходят за начальством, и молчал. Потом сказал:

— В деревне вас не любят, хозяйка.

— Я там не была.

— Горан был. Вчера, пока почту ждал, в кабаке сидел. Рассказывал.

— Что?

— Что леди с печкой разговаривает, в первый день с утра до ночи ревела, детей не кормит, а прислугу за стол сажает. Последнее, положим, правда. — Он помолчал. — Что с флаконом, тоже знают. Деревня, хозяйка. Тут всё знают через день.

Я переступила лужу, в которой отражалось серое небо.

— Генерал про меня что-нибудь говорил?

— Говорил.

— Что?

— «Накормила». — Пауль пожал плечами. — Он вообще мало говорит. Одно слово — это у него много.

Деревня Выселки стояла в низине у ручья, и видно её было сначала по дыму, потом по собакам, потом по крышам, низким, серым, с сосульками. Дворов тридцать, одна улица, кузня на краю и кабак в середине, тоже низкий, с бычьим пузырьём вместо стекла и с коновязью, у которой стоял Серый.

Серый узнал меня и повернул голову.

Пуговицы при нём не было. За кабаком был двор, обнесённый жердями, и там, среди кур, стояла она, с верёвкой на шее, и смотрела на меня через жерди жёлтыми глазами так, будто это я её сюда привела.

— Нашлась, — сказала я ей. — Стой тут.

Внутри было темно, тепло и кисло. Три стола, лавки, стойка, за стойкой хромой мужик с лицом, которое давно ничему не удивлялось. За дальним столом сидел Горан, и перед ним стояли две кружки, одна пустая, и он уже был в том состоянии, когда человек рад всем. Мне он тоже обрадовался.

— Леди! Пешком! Йос, это наша леди, я рассказывал.

— Рассказывал, — согласился хромой.

Я подошла к стойке. Пауль встал у двери и прислонился к косяку.

— Коза во дворе моя. Я за ней.

Хромой Йос перевёл глаза с меня на Пауля у двери, с Пауля на Горана и что-то прикинул. Соображал он быстрее Горана.

— Коза куплена. Честно. У управляющего именем, за три кружки и ночлег. Вон он, управляющий, подтвердит.

— Подтверждаю! — сказал Горан.

Я положила на стойку лист генерала. Йос посмотрел на лист, не беря в руки.

— Это бумага генерала Крейга. Здесь написано, что управляющий именем Выселки не имеет права продавать имущество имения. Коза — имущество имения, в описи. Значит, он не мог её продать, а вы не могли купить. Коза краденая. Через неделю в имение приедет комиссия опеки короны. Я назову, у кого краденая коза стоит во дворе. При писаре.

Йос молчал. Потом сказал:

— Бумага Крейгова.

— Крейгова.

— Крейг опальный. Его бумага в уезде — что мой пузырь в окне.

— Запрещает не генерал. Запрещает закон. Генерал только написал, какой. — Я придвинула лист ближе. — Комиссия будет читать закон, а не спрашивать, кто его переписал.

Пауль у двери переступил с ноги на ногу. Негромко, но пол был дощатый. Йос посмотрел на него и снова на меня.

— Три кружки и ночлег, — сказал он.

— Ночлег он ещё не переночевал.

Йос подумал.

— Три кружки. Отдайте три кружки, и забирайте свою козу хоть сейчас. Я не вор, леди. Я за выпивку взял, за выпивку отдам.

— Горан, — сказала я, не оборачиваясь. — Три кружки.

— А я их выпил, — сказал Горан радостно. — Леди, ну вы же видите.

Я видела. Три кружки стояли, по словам Берты, медяков двадцать. У меня не было ни одного. У меня была бумага опального генерала, караульный у двери и коза за жердями, и ничего из этого не превращалось в двадцать медяков, как ни складывай.

За спиной открылась дверь, впустив холод, и Пауль посторонился.

Вошёл мужик лет шестидесяти, невысокий, кряжистый, в хорошем тулупе, в шапке, которую он не снял, и с лицом, по которому было видно: это он тут решает, кто сколько кому должен. Он оглядел кабак, меня, Пауля, Горана, лист на стойке и сказал Йосу, не здороваясь:

— Чего шумим?

— Леди за козой пришла, Ольгерд. Горанову козу выкупает. Денег нету.

Ольгерд. Староста. Берта говорила: хитрый, торгуется всегда.

Он оглядел меня с башмаков в грязи до замотанной руки, без почтения и без насмешки, как оглядывают телегу перед покупкой.

— Леди Варрен, значит. Которая с печкой.

— Которая с печкой.

— Писать умеете?

Я не ожидала этого вопроса и ответила раньше, чем подумала:

— Умею.

— Грамотно? Чтоб в уезде приняли?

— Если скажете, что надо написать, напишу так, что примут.

Ольгерд помолчал. Снял наконец шапку, сел на лавку, положил шапку рядом.

— Третий год у нас по весне ручей заливал нижние огороды. Потому что мельничную плотину выше по ручью никто не чинит с тех пор, как мельник помер. Плотина казённая. Мы в уезд писали. Два раза. Горан писал, за серебряный. Красиво писал, с завитками. Оба раза вернули. — Он достал из-за пазухи сложенный лист, затёртый на сгибах, и положил передо мной. — Вот. С пометкой.

Пометка была в углу, чужой рукой, мелко: «Не указано, кому. Не указано, от кого. Нет подписей дворов. Вернуть». Я прочла и посмотрела на Горанову бумагу: она начиналась со слов «Горе нам, сирым» и дальше шла в том же духе на две страницы.

— Напишите, чтоб приняли, — сказал Ольгерд. — Я за козу Йосу отдам. Три кружки не деньги. А повезёте в уезд сами. Со мной, на моей телеге, после вашей комиссии. И в окно подавать сами будете. Примут — в расчёте. Не примут, — он посмотрел на меня спокойно, — за вами должок. Запишу.

Честно. И неудобно. Я кивнула.

— Сейчас?

— А чего ждать. Йос, бумагу и чернил.

Бумага у Йоса нашлась, плохая, серая, и чернила были, густые, и перо. Я села за стол у пузыря, где был свет, и спросила Ольгерда, как называется уезд, кому там пишут такие бумаги, как звали мельника и сколько дворов заливает. Он отвечал коротко и точно. Я писала.

Это я умела. Двадцать пять лет я писала бумаги, чтобы их приняли, и знала, что главное в такой бумаге не слова, а чтобы человек, который её читает, не нашёл, к чему придраться. Пометка в углу сама говорила, чего ему не хватило. Наверху кому и от кого. Потом суть в три строки. Потом просьба. Потом место для подписей. Ольгерд смотрел, как я пишу, и лицо у него менялось.

— Подписи дворов, — сказала я, закончив. — Сколько заливает, столько подписей. Кто не умеет, крест, а рядом вы его имя. И отвезти самому, в канцелярию, в окно, и спросить, в какую книгу записали. Запомните номер.

Ольгерд взял лист. Прочёл. Читал он медленно, шевеля губами, но читал. Сверил с пометкой.

— Кому есть. От кого есть. Подписи будут. — Он сложил лист и убрал за пазуху, туда, где лежала Горанова. — Йос. Козу леди. Три кружки на мне.

Йос пожал плечами и крикнул кого-то во двор.

Пока вели Пуговицу, кабак наполнился: откуда-то набежали бабы, пацаны, двое мужиков с кузни, и все смотрели на меня в упор, не стесняясь, как на ярмарочного медведя. Я сидела и смотрела в ответ. У меня в этом тоже была практика.

Девушка лет восемнадцати, рослая, с красными щеками, в платке набекрень, протолкалась вперёд и спросила громко, явно заготовленное:

— А правда, что вы Крейговых кормите?

— Правда.

— Из своего?

— Из своего.

Она обернулась на Ольгерда. Тот смотрел на неё без одобрения, но и без запрета.

— Возьмёте меня в дом? — сказала девушка. — До комиссии хоть. Я работать умею, я в Горнце три года на постоялом дворе в кухне стояла, пока отец не забрал. Платить потом, когда будет.

— Агнес, — сказал Ольгерд.

— Чего Агнес. Дома всё равно сидеть. — Она вздёрнула подбородок. — Или за Мирко идти. А Мирко сорок лет и он пьёт. Мне своё серебро нужно, отец. Своё.

Ольгерд глянул на дочь, на меня, тронул пазуху, где лежал лист. Считал он быстро: дочь в господском доме — это и свои глаза в доме, и хозяйка в долгу, и письма без очереди.

— Две серебряных в неделю, когда будут, — сказал он мне, как будто торговался за телегу. — И письма. Нам ещё писать придётся.

Нанимать за счёт имения мне было нельзя, генерал сказал ясно. Но письма — не имение. Это был мой долг, личный, и я это понимала, и понимала, что когда-нибудь за него спросят.

— Серебряный и кормёжка. Когда будут. И письма.

— Полтора.

— Полтора. Но с сегодняшнего дня.

Он кивнул. Агнес просияла и тут же сделала лицо, что ничего особенного.

Горан смотрел на это из своего угла и молчал. Ему, кажется, впервые за три дня нечего было сказать. Я прошла мимо него к двери и не посмотрела.

Агнес убежала домой за вещами и догнала нас уже за околицей, запыхавшись, с узлом через плечо. Назад шли вчетвером: я, Пауль, Агнес и Пуговица на верёвке. Когда верёвка натягивалась, я останавливалась и ждала, как учила Мила. Ждать приходилось редко: коза шла домой.

Агнес молчала ровно до околицы. Потом её прорвало.

— А правда, что вы с печкой разговариваете? А коза ваша Йосовых кур гоняла, он злой был. А Горан говорил, вы ревёте, а вы не ревёте, я смотрела. А у вас в доме крыша течёт, это все знают, Янек рассказывал, он к нам за солью ходит. А лорд ваш правда дракон? Настоящий? А вы его видели в драконьем виде? А генерала видели?

— Агнес, — сказал Пауль.

— Чего?

— Дыши.

Она надулась на десять шагов. Потом не выдержала.

— Генерала в деревне боятся. Говорят, он выгоревший, а выгоревшие злые, потому что им холодно. А я не боюсь. Он зимой, когда у Йоса сарай горел, сам приехал и сам тушил, со своими, и ничего не взял. Только Йос всё равно говорит «опальный». Йос всех боится, кто ближе уезда.

Я слушала вполуха. Я считала. Это уже входило в привычку: как только вокруг начинали говорить, я начинала считать.

— Агнес. У кого в деревне коровы?

— У отца две. У Шаллеров одна, у Мирко одна, у вдовы Хельги коза, но она не даёт, вдова, в смысле, Хельга. У кузнеца корова и две козы. У... — Она загибала пальцы и сбилась. — Дворов десять с молоком. Было больше, пока лавка в Горнце брала, а потом перестала, далеко возить, скисает. Теперь сами пьют и телятам.

Десять дворов с молоком, которое некуда девать. Три часа до Горнца, за которые оно скисает. Сыроварня в получасе ходьбы, с котлом, который не продадут.

Я не стала ничего говорить вслух. Рано. До комиссии была неделя, и за неделю сыр не варится, а дом в порядок приводится. Но десять дворов я запомнила.

— А ещё говорят, — сказала Агнес, понизив голос, — что генерал на вашу землю караул поставил не просто так. Что ему под вашей землёй что-то надо.

— Кто говорит?

— Все. — Она пожала плечами. — Деревня.

Я обернулась на Пауля. Он смотрел на дорогу, и лицо у него было закрытое, как ставня.

Мила увидела нас с крыльца и побежала босиком по грязи, я не успела крикнуть. Она обняла козу за шею, и коза стерпела. Больше, чем я за три дня добилась от кого-либо в этом доме.

— В дом, — сказала я. — Босиком по грязи — в дом. Коза придёт к тебе сама, у неё ноги тёплые, а у тебя нет.

Она пошла, оглядываясь на каждом шагу, и Берта в дверях поймала её и унесла.

Тео стоял на крыльце. Не бежал. Смотрел.

Я подошла.

— Ты был прав утром, — сказала я. — Я не спрашиваю. Я говорю «не обсуждается» и считаю, что спросила. Буду спрашивать. Соглашаться не обещаю.

Он подумал.

— Посмотрим, — сказал он. Не улыбнулся. И потом, тише: — Коза живая.

— Живая.

— Хорошо.

И пошёл в дом.

Агнес уже стояла в дверях кухни, оглядывала Клавдию и Берту с одинаковым выражением, и Берта оглядывала её с таким же, и я подумала, что с этим тоже разберёмся, но не сегодня.

Потому что у ворот стоял генерал.

Спешенный. Один. Конь у ограды, он сам у створки, с поднятым воротником, хотя капало, и правую руку, ту, без перчатки, он держал под мышкой: так греют пальцы, которые не гнутся. Я заметила. Решать, всё ли мне равно, было некогда.

Пауль за моей спиной вытянулся так, что я услышала.

— Вы вышли за ворота, — сказал генерал.

— Вышла.

— Пауль.

— Присмотр, генерал. Без присмотра не выпускал. Сам пошёл.

Генерал посмотрел на него, потом на козу, которую Агнес уже вела в конюшню, потом на меня, и я приготовилась услышать про караул.

Он сказал не про караул.

— Комиссия опеки в Горнце. Приехала вчера по другому делу. Мой доклад ей передали сегодня утром. Она будет здесь послезавтра. Не через десять дней.

Я стояла посреди двора, в грязи по щиколотку, и слышала, как за спиной Агнес что-то говорит козе.

— И ещё, — сказал он. — Ваш управляющий сегодня в кабаке, при людях, сказал, что леди унесла припасы опеки к себе в комнату и заперлась. Это дойдёт до комиссии раньше, чем вы успеете что-то объяснить.

— Я не запиралась.

— Я знаю. Второй караульный докладывал утром: припасы в детской, при детях, по описи. А что говорил Горан, мне сказали из кабака. У Йоса сидит мой человек. Он там всегда сидит, за это ему и платят. — Он глянул на мою замотанную руку и снова на лицо. — У вас два дня, леди Варрен. Нет. — Он поправился ровным голосом. — Один. Завтра я приеду и посмотрю, что вы собираетесь им показывать. Послезавтра будет поздно.

Глава 6

Один день. Я проснулась с этой мыслью раньше, чем открыла глаза, и лежала на тулупе у печки, слушая, как дышат дети, и раскладывала этот день по часам, как раскладывала когда-то день перед проверкой.

Разница была в том, что тогда у меня было двадцать человек персонала, а теперь Берта, Агнес, Янек, десятилетний мальчик, семилетняя девочка и коза. И рука, которая за ночь распухла так, что платок врезался.

Платок я перемотала, но сначала размотала и посмотрела. Края царапины покраснели и припухли, вокруг было горячо. Я промыла её тёплой водой с солью, как промывала разбитые коленки в Боровом. Берта, не спрашивая, принесла ложку мёда и намазала: так делала леди Орса. Если к вечеру не станет лучше, сказала она, надо звать кого-то, кто понимает, а в деревне понимает только вдова Хельга, и та за деньги. Рука болела ровно, без дёргания. Дёрганье было бы хуже. Пока.

На кухне уже шла война.

Агнес стояла у Клавдии с ухватом, Берта стояла у стола с ножом, и обе молчали так, что воздух между ними можно было резать этим ножом. Я поняла всё с порога: кухня одна, а хозяйек две, и Берта в этой кухне семь лет при леди Орсе, а Агнес три года на постоялом дворе, где через неё в день проходило больше горшков, чем у Берты за месяц.

— Берта, — сказала я. — Ты сегодня старшая по дому. Полы, окна, детская, постели. Агнес — кухня, одна, целый день, без помощи. Вечером скажешь, Берта, годится она или нет. Если нет, завтра поменяемся.

Берта перевела взгляд с меня на Агнес и положила нож.

— Годится или нет, — повторила она. — Я скажу.

— Скажешь честно.

— Я всегда честно.

Это была правда, и Агнес, кажется, тоже это поняла, потому что ухват поставила.

Дальше я раздавала день быстро, не останавливаясь, потому что если остановиться, станет видно, что людей не хватает.

Янеку — доски с окон в коридоре. Два окна, те, что с целыми стёклами за досками. Пусть в доме будет свет, комиссии нравится свет.

Тео — опись. Чистовик. Всё, что в детской, по мешкам, по связкам, с датой, двумя столбцами: что было в кладовой по книге Горана, что есть в наличии. Книгу Горана я держала в детской, под мешком с мукой. Горан о ней пока не вспомнил, но вспомнит, когда откроет своим ключом стол в кабинете и не найдёт. Я хотела, чтобы к этому времени её цифры были переписаны начисто рукой, которая не его. Тео посмотрел на меня, и я сказала: да, это скучно, и да, это важнее, чем мыть полы. Он кивнул и ушёл за карандашом, и спина у него стала прямее.

Миле — подушки. Все на верёвку, выбивать. С Бертой, когда Берта дойдёт до постелей. Нет, коза не помогает. Да, коза может смотреть.

Себе я оставила северное крыло и дрова.

С дровами было так. Дровяник стоял запертый, и ключ от него лежал в кармане у Горана, а Горан лежал в кабаке у Йоса, и до него было полчаса грязи. У печки дров оставалось на день: то, что Янек успел занести позавчера ночью, пока мы носили мешки. О дровянике я тогда не подумала. Это была ещё одна, и я записала её в тот же список, что калитку и Горана. Комиссия приезжала завтра, и я очень хорошо представляла себе холодную детскую в день комиссии и лицо инспектора, которая трогает печку рукой.

— Янек. Лом есть?

По его лицу было видно: лом есть, но знать зачем он не хочет.

Замок был старый, навесной, и Янек снял его за минуту, покраснев до ушей. Я стояла рядом и держала в голове слова генерала: продавать, закладывать, дарить нельзя, прочее можно. Дрова я не продавала и не дарила. Я ими топила. На содержание детей. Я записала это на листе, который носила с собой, прямо так: «Замок с дровяника снят ломом по распоряжению леди Варрен для доступа к дровам на отопление детской. Замок цел, передан Янеку на хранение». И дата. И подпись. Э. Варрен. Вторая в жизни.

Это могло мне аукнуться. Я знала. Но холодная детская аукнулась бы вернее.

Северное крыло я открыла в полдень, с фонарём, одна. Пахло погребом. Потолок в дальней комнате провис и подтекал. По полу шла вода и уходила в щели; доски под ней разбухли и вспучились. Крыша была та же, что над детской, только дальше по скату. Я стояла и смотрела на потолок и думала о том, что если его не подпереть, он рухнет не в северном крыле, а продолжит рушиться дальше, по тому же скату, к детям.

Подпереть я не могла. Я могла только показать.

В Боровом перед проверками мы прятали всё: протечки заклеивали бумагой, трещины замазывали, аварийный туалет запирали и вешали табличку «ремонт». Это ни разу не помогло. Я решила ничего не прятать. Северное крыло останется открытым, с фонарём у двери: смотрите. Вот дом, вот что с ним, вот что сделано, вот что я не могу сделать одна, и вот почему.

Это было рискованно. Но прятать было рискованнее: Горан уже сказал в кабаке про запертую комнату, и комиссия поедет сюда с мыслью, что хозяйка что-то прячет. Пусть придет и не найдёт ни одной запертой двери.

Детям я туда ходить запретила. Тео отвечал за то, чтобы Мила не ходила, и за то, чтобы не ходил сам, и второе, я видела, было труднее.

Письмо я села писать после полудня, за кухонным столом, пока Агнес гремела горшками, а Берта громко ничего не говорила, проходя мимо.

Отказ лежал передо мной. Два листа. Пустое место внизу. Я не притрагивалась к нему три дня, и он лежал под подсвечником, как лежит вещь, которую нельзя выбросить и нельзя взять.

Письмо я написала так, как писала бы в районо: по пунктам. Первое: доверенность управляющему датирована за три недели до отъезда леди Варрен, что свидетельствует о заранее принятом решении. Второе: письмо владельцу соседних земель содержит сведения, противоречащие письму супруге. Третье: закладная на имение, срок взноса по которой совпадает со сроком подписания отказа. Четвёртое: приходно-расходная книга управляющего, расхождение с наличием, сорок восемь против сорока одного. Пятое: припасы, коза, свидетели. И в конце: «На основании изложенного отказ подписан не будет».

Полторы страницы. Ровно, без единого восклицательного знака, с номерами. Я перечитала и осталась довольна: ни к чему не придерёшься. Это было хорошее письмо. Так я писала двадцать пять лет, и ни разу не промахнулась, и это должно было меня насторожить, но не насторожило.

Генерал приехал в четвёртом часу. В дом вошёл один; Маркус остался у ворот с Паулем, и я слышала, как он там что-то рассказывает и Пауль не смеётся.

Я повела генерала по дому. В коридоре было светло: два окна без досок, вымытые, и в свете стало видно, сколько пыли на остальных. Полы мокрые, Берта только что прошла. В детской мешки под одеялом и Тео с описью за столом, который Янек принёс из кабинета. Генерал взял опись, прочёл два столбца, положил.

— Кто считал?

— Я, — сказал Тео.

— Проверю.

— Проверяйте.

Генерал задержался на нём взглядом чуть дольше, чем положено десятилетнему, и пошёл дальше.

Дровяник со снятым замком. Я показала ему лист. Он прочёл, и на слове «ломом» у него что-то коротко сдвинулось в лице и вернулось.

— Это Клоц прочтёт.

— Я для того и писала.

— Хорошо. Она любит, когда записано. Она не любит, когда записано красиво. У вас не красиво.

Я не поняла, похвалил он или нет, и решила, что не важно.

Северное крыло я открыла молча и подняла фонарь. Он прошёл до дальней комнаты и вернулся.

— Вы это покажете.

— Покажу.

— Горан сказал бы, что вы довели дом.

— Горан сказал бы. А потолок скажет, что течёт третий год. У воды по стене видно.

Он посмотрел на стену, где по штукатурке шли бурые полосы, одна ниже другой, как годовые кольца.

— Да, — сказал он. — Видно.

На кухне Агнес поставила перед ним кружку с чаем из сушёных яблок, потому что другого не было, и сделала книксен, который видела, наверное, на постоялом дворе. Он взял кружку обеими руками и не стал пить. Стоял спиной к Клавдии, держал кружку, и пар шёл ему в лицо. Руки у него были большие, в рубцах, и кружка в них была как напёрсток. Я отвернулась к окну, и за окном не было ничего интересного.

— Что вы скажете комиссии? — спросила я. — Про меня.

Он ответил не сразу. Но и не так долго, как обычно.

— Что дети сыты, в тепле, при опекунше. Что управляющий не представил отчёта и, по книге, недостача. Что дом в упадке и хозяйка этого не скрывает. — Пауза. — Чего не скажу: что вы ходите за ворота. Пауль тоже не скажет.

— Почему?

— Потому что вы ходили за козой, а не от детей. Клоц разницу поймёт, но спросит. Лишний вопрос.

Я кивнула. Благодарить не стала: он бы не взял.

— Она спросит, на что вы собираетесь жить, — сказал он. — Отвечайте: на содержание от опеки и на то, что сделаю руками. Не говорите «сыр».

— Почему?

— Потому что у вас нет ни одной головки. Для неё слова без головок — пустое. Скажете «сыр», она запишет «фантазии». Скажете «руками», она запишет «трудолюбива». Ей важно, что она запишет.

Я подумала, что он, похоже, знает эту Клоц, и что это не к добру.

Потом я сделала то, что собиралась, и что было, как я уже сказала, ошибкой.

— У меня письмо лорду Варрену, — сказала я. — Почта из Горнца идёт четыре дня. У вас, я так понимаю, быстрее.

— Быстрее. — Он поставил кружку. — Под моей печатью я вожу только то, что читал. Покажите.

— Зачем вам возить письма жене Варрена?

— Мне нужно, чтобы Варрен получил ваш ответ до того, как подаст на трибунал, а не после. Это не ради вас.

Я протянула. Он взял полтора листа и прочёл стоя, не садясь, так же, как читал письмо Варрена в сенях. Прочёл до конца. Потом сложил и вернул.

— Нет.

— Что — нет?

— Это письмо я не повезу. — Он сказал это без нажима, ровно. — Вы перечислили ему всё, что у вас есть. Закладную. Книгу. Расхождение в письмах. Через год трибунал, и до трибунала у него будет год, чтобы объяснить каждый ваш пункт, а книгу, которую вы называете, затребовать как имущество имения. Вы показали карты до игры.

— Это не карты. Это факты.

— Факты показывают трибуналу. Не ответчику. — Он помолчал. — И второе. На трибунале читают письма сторон вслух. Ваше прочтут, и все услышат женщину, которая обвиняет мужа по пунктам. Он будет сидеть и молчать. Он умеет. На Севере это проигрыш с первой страницы, как бы вы ни были правы.

Я стояла с полутора листами и чувствовала, как горят уши. Мне было сорок пять лет, и я двадцать пять из них писала бумаги, которые принимали. В моём мире. Здесь мир был другой, и трибунал другой, и я написала так, как привыкла, потому что привыкла. Этого я и боялась: что привычка сработает не туда.

— Напишите две строки, — сказал он. — Что не подпишете. Что дети с вами. Подпись. Остальное он знает сам, а трибуналу знать не надо. Пока.

Я могла сказать ему, что он не имеет права. Что это моё письмо и мой муж. Я открыла рот и вместо этого сказала:

— Дайте перо.

Агнес принесла. Берта остановилась в дверях. Тео, конечно, был в коридоре.

Я взяла чистый лист и написала:

«Лорд Варрен. Отказ не подпишу. Дети остаются со мной. Э. Варрен».

Посыпала песком. Сложила. Протянула.

Он взял. И не убрал сразу: смотрел на мою руку, на платок, на то, как я держу перо, не сгибая пальцы.

— Руку покажите.

— Царапина.

— Покажите.

Я размотала. Он не притронулся. Посмотрел на красные припухшие края и на мёд, и что-то коротко сказал себе под нос, не мне.

— Маркус привезёт лекаря сегодня, до темноты. Не спорьте. Вам завтра держать перо при Клоц, а не прятать руку за спину.

Я не спорила. Замотала обратно.

Потом взяла отказ, два листа с пустым местом внизу, разорвала пополам, ещё раз, открыла дверцу Клавдии и положила туда. Клавдия приняла сразу, без претензий. Бумага была хорошая, горела ровно.

Полтора листа по пунктам я положила туда же. Это было труднее.

Генерал смотрел на это, держа моё письмо в руке. Потом убрал его за пазуху.

— Он пришлёт новый отказ, — сказал он.

— Пусть присылает. Клавдия большая.

Тео в коридоре фыркнул.

Генерал взял кружку, которая к тому времени остыла, выпил её залпом, как пьют не чай, поставил и пошёл к двери. Я вышла за ним на крыльцо.

Во дворе Мила колотила палкой по подушке, которую Берта держала на весу, и Пуговица стояла рядом и смотрела с одобрением. Увидев генерала, Мила остановилась.

— А вы правда дракон?

Я не успела её одёрнуть.

— Да, — сказал он.

— Покажите.

— Нет.

— Почему?

Он остановился на нижней ступеньке. Посмотрел на неё сверху, и я видела, как он решает, что сказать семилетней. И он сказал то, чего я не ожидала.

— Потому что не могу.

Мила подумала.

— Совсем?

— Пока.

— А потом?

— Не знаю.

Она кивнула, как кивала мне, когда я говорила «не знаю» про Элису. Приняла. И вернулась к одеялу.

Он сел в седло. Конь переступил. Он уже разворачивался, когда сказал, не оборачиваясь, как говорят то, что решили сказать в последний момент:

— Комиссию возглавляет Гертруда Клоц. Она не берёт и не прощает. И она знала вашу мать.

И уехал, а я осталась стоять на крыльце с горящими ушами и с этим «знала вашу мать», про которую я знала ровно то, что рассказала Берта: сыр, запрет мужа, котёл. И ничего из того, что знала бы дочь.

Глава 7

Лекарь приехал в сумерках, с Маркусом, на одной лошади, и слез с неё с лицом человека, которого везли против воли.

Он был старый, сутулый, с мешком через плечо и с таким выражением, будто его оторвали от ужина, и так оно, наверное, и было. Звали его Бруно. Он не поздоровался, прошёл на кухню, поставил мешок на стол, сдвинув Агнесины горшки, и сказал:

— Руку.

Я села и положила руку на стол. Он размотал платок, посмотрел, понюхал, надавил пальцем рядом с царапиной, и я не вскрикнула только потому, что в дверях стояла Мила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.